

Беззащитное существо

Как ни силен был ночью припадок подагры¹, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе², очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский ассессор³ Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? — спрашиваю. «А он, — говорят, — из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превос-

¹ П о д а г р а — заболевание, вызывающее в типичных случаях болезненное опухание суставов.

² С а л о п (*истор.*) — широкое дамское пальто.

³ К о л л е ж с к и й а с с е с с о р — в России гражданский чин 8-го класса; чиновник.

ходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, незащищенная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в сапог за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвейчу, надоумил к вам сходить. «Вы, — говорит, — мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать...» Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом¹.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

¹ Флюс — воспаление десны, сопровождается припуханием ее.



— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» — да и все тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На моей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. — Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку¹. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, — заплакала Щукина. — Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался...

— Нет, извините, я не могу с вами говорить, — сказал он и махнул рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

¹ П р о б и р н а я п а л а т к а — учреждение, где определяется качество серебра и золота и ставятся пробные клейма.

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. — Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый

мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень¹...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец, постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что...

— Ну, нечего, нечего... — обиделась старуха. — Своей жене постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Твоих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах навалешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина. — Вот этот, вот самый... вот этот... (она указала на Алексея Николаича) постучал себе паль-

¹ М и г р е н ь — повторяющиеся приступы острой головной боли, обычно односторонней и пульсирующей.

цем по лбу, а потом по столу... Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня, — простонал Кистунов, — я разберу... приму меры... Уходите... после!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое... Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так... — согласилась она. — Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом.

— 24 рубля 36 копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду... болен... — сказал Кистунов томным голосом. — У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

МИХАИЛ ПРИШВИН

В краю непуганых птиц

Очерки Выговского края

ВОПЛЕНИЦА

Кто никогда не бывал в не тронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.

Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди.

Одна баба украла житную¹ муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках², а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже... все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись, у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами — матерые люди... Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа *порядового*.

¹ Ж и т н ы й — ячменный.

² Б у р л а к — рабочий, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке.

Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» — «Как же, как же, — скажут, — есть, есть, такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно *есть* в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна.

— Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горяша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Выг-озеру вопленица, плакальщица или подголосница.

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услышать, как женщина, увидев бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку, — несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких родных несомненны, а потому и плачи дают бога-

тый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица — филин, ворон или сова — и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням — красной девушкой или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бесильно опускаются руки. Остается умиловить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золочена, и золотая казна, и гулярно цветно платье, и любимая скотинушка. Но смерть, или *судина*, не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани¹, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом *домовице* или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся, легкие, свободные, как облака:

¹ Д л а н ь (церк.) — рука, ладонь.

«Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретаетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа, — говорит Барсов¹, — выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или воплениц; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слово-выражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвоят, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в живо трепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она по-

¹ Барсов Е. Причитания Северного края. (Предисловием этой прекрасной книги мы здесь и пользуемся.)

ведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

С воплоницей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такую ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов — радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

— Раз и мне пришлось его видеть.

— Ну, какой же он из себя?

— Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

— А где же ты его видела?

— Да в хлеву.

— Ну, так это не домовый, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порато вопела, что задрожить вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают — с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кричит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то невозможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась... вошел... идет

ближе, ближе... А шевельнуться не могу. Вижу, стоит... темно... разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял... Шерстно-ой!

— Шерстной, говоришь?!

— Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» — «Что с тобой, баит, дитяtko?» Заплакала я тут: «Не хочу, — говорю, — умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, — говорю, — умри за меня!» — «Рад бы, — говорит, — душка дорогая, рад, да это дело божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее *воп*, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пицат в трех зыбках¹. Кажется — все... но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе, совершенно голенький; оглянулся — там еще и еще...

— Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать, — сказал старик.

— Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать... И мне стало неловко... У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.

¹ Зыбк а (обл.) — колыбель, люлька.

Я оглянулся на старика — он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

— Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не могу...

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела...

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжалась. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них:

ПЛАЧ ВДОВЫ¹

Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке.
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему господнему божьему денечку,
Как по раннему утру утреному
Вдруг заныло мое зяблое ретивое серденушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовице.
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!

¹ Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выг-озеро, Карельский остров.

Как на раскат горе на высокой
Там посажен сад, винограде зеленое,
Там построено теплое витое гнездышко,
Там складены теплые кирпичные печенки,
Там прорублено светлое косяцато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики луженые,
Там налиты чашечки фарфоровы,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка».
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!
Обманула меня, бедну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице.
Там повыросла только белая березка кудрявая,
Там не дожидает меня милая

венчальная державушка:

Видно, уж отпало желанье великое...

Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
Уж как порозóльются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручееченьки,
Уж как порозóльется славно широко озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечеки,
Я проторю путь торну широку дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие желтые песочки,
Раскались и эта нова гробова доска,
Раскалитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори,

самоцветный лазуревый камешек.

Уж как придет темная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.

Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное —
 Пуще злее досаждаёт, одоляет
тоска-кручина великая.
 Погляжу я в это светло косящато окошечко,
 Как на эту раскатну гору на высокую:
 Уж нейдет, не катится моя милая,
любимая семеюшка,
 Уж, видно, так мне проживать-коротать
свою молодость,
 Не порой пройдет, да не времечком,
 А пройдет молодость горячими слезьми.

.....

Вопленицей, истолковательницей чужого горя,
 Максимовна сделалась не сразу.

Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить
 до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, —
 говорит Максимовна, — от своего горя научилась. По-
 шло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научи-
 лась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте
 не станет кричать. Между тем Максимовна несомнен-
 ный и в своем месте общепризнанный талант. В де-
 вушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озе-
 ре, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая
 в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изме-
 няла невинные игривые детские песенки Степки Мак-
 симовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки,
 потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в
 надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причи-
 тания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот по-
 чему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выг-озер-
 ского погоста, на пожне¹. Мать ее при этом случае ко-

¹ П о ж н я — сенокосное угодые.

сила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой крисотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала *плицей* набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, *штейницу*, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба; в особенности, если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить *Шишкó!* В этого Шишкó и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.

Раз был такой случай, рассказывает Максимовна. Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, — говорит, — девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та

отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишкó, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни — в каждой деревне свой праздник раз в год, — Степка всегда первая в хороводах, все песни она запекает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие *до-сольные*, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слухок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слухка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услышал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услышал, сейчас же сел на лодку — и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняж-

ка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище Боровик.

— Если ты мной не брезгаешь, — сказал Гаврило, — останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

— Не знаю, — сказала Степанида. — Если нам на этом остаться, мать не поверит... отдаст...

Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

— Знаю, — сказала мать, — на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щях тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу... зятек, зятек... а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я, враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят паужинают.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хватай!

— Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

— Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

— Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются... Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы богу, что ли...

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать:

— Ты чего не спишь?

— Да кусает, матушка.

— А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

— Боюсь.

— Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и *сязно* было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, — сказали они, — думу подумать, вот родня сбегется».

И другой раз сходил сват. На третий привезли жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она попела отцу:

Становилась подневольна косата голубушка
На одну мостиночку дубовую...
Уж не катитесь, мои горькие слезы горячие,
По моему блеклу лицу, не румяному...

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей цветно платьице лазурево, «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощанье невеста вопит «легоньким вóпом»:

Отпустите на мою слезу слезливу на свадебку;
Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные,
Из-под холодной из-под северной сторонушки...
Раскатитесь, пенья, колодья валючии,
И повыстань, моя красная, красивая подруженька...

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:

— Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живете?

— Просим милости, пóдьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

— Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно ли как поскорее?

— Ну, ладно, — отвечают им, — поноворите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косою красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,
Как в ногах стоит страшная гора страховитая,
А в головах стоит женское житье подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей подушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была несчастной. Наконец, подушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогую вольную волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: *красование*.

Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,
Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку,
Уж мне расстаться с моим дорогим
привольным девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местеч-

ко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились наконец поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брудьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тысяцкий постучал батожком¹ по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

— Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

— Есть в дороге, да пала погода, занесло дорогу порато.

Наконец, появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За невесту просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам — повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, так же как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здорова-

¹ Б а т о ж о к - б а т о г — толстый прут, посох, трость.

лись, обходили столы. Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у «князя» сапог, и он положил ей в него деньги...

Утром вытопили *байню*, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так — всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил, — говорили дальновидные люди, — не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удерживать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но женки так и шипели: «Кончился лиходея наш, комом ему земля, не работал, а только распорядился хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,
У ворот будешь приворотница,
У замков будешь замочница,
Во дому будешь большухой.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек — не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось... А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит, шесть ложек, а у нее только двое: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:

— Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

— А я не просила, — ответила меньшуха, — у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну — для себя.

— Вот, — сказала она, — тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

— Да как ты смеешь? Я тебя косой!

Но меньшуха, как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели паужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

— Начинай!

— Нет, ты начинай!

— Ну, тронь!

— Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит — в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.

Наконец решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки — все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали далее самые предовольные соседки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглотать.

Бывало, раньше кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства — и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала женка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка за поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день.

Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна, «со умноженным со стадом со детинным». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

— И вот, — рассказывает теперь Максимовна, — когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрись и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я, — а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила, — и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сеной наволок, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу — муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-то разум пришел, и одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила — страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим

на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ка стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и пáла. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выг-озере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе-горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

— Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? — осведомилась она. — Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече со Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

— Всякие жены есть, — сказала она, — хоть по мужу-то и порáто повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки. А молода жена до новá мужа. А родимая сестра плачет, как роса на траве».

ПЕВЕЦ БЫЛИН

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был...

Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богатыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них *старины*, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и *сказители* былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья — вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услышать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.

Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на

Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.

— Как же, как же! — отвечал он. — Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет... Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!

— А другие в вашей деревне знают старины? — спросил я.

— Не-ет, где нам! Рябинка — старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отстывает: что на какой день положено, то и ест, оттого он и памятлив. Он ни в чем от своего не отстывает. Вот когда его к государю возили, так что там наставлено было! Столы ломились. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, беседует, а ничего не трогает, ни-ни... Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин — сын того самого знаменитого Рябина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.

Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения, или сказители теперь уже стали переводиться, но только на Выг-озере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую *досюлтцину* (старину) рассказать может».

Когда мы подъезжали, на берегу острова у большой избы играло в *рюхи* множество босых, полуодетых, но здоровых ребят.

— Дома ли старый *мошник* (глухарь)? — спросили ловцы.

— Ловит, — ответили ребяташки.

Вышла старушка, жена Григория, повела меня наверх в чистую горницу и все говорила:

— Гостите, хозяин скоро приедет, гостите...

Старушка, как принято на Севере, сначала напоила меня чаем, потом угостила обедом: сварила уху из сига, поставила на стол простоквашу, тарелочку с морошкой, с сухими красными пряниками; тут был и рыбник из ряпушки, и рыбник из окуней, и пирог из черники, калитки, шанежки, мякушечка хлеба. Старушка то и дело ныряла вниз за новыми и новыми угощениями.

— Ловит старик, ловит, — говорила она. — Стара стала я, не могу уж с ним ездить. А по прежним временам уж я не усидела бы по такой тишине, сто сорок сетей, батюшка мой, было... Жила и с одной коровушкой, и с двумя, и с тремя, и с четырьмя, всяко жила. А вот теперь ноги болят.

Только под вечер приехал старик. За кого он меня мог считать? Уж конечно, за барина, имеющего отношение к лесному, межевому или полицейскому делу. Нужды в них человеку на острове, конечно, не было.

Но Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра.

В лице его как-то не было ничего лишнего, и даже бесчисленные морщинки на лбу, казалось, все имели свое назначение, словно каждая из них была продолжением его правильных, спокойных мозговых извилин.

Ругань и крик разбудили меня рано утром. Я взглянул в окно. По дорожке вдоль озера с громадным колом в руке бежал вчерашний, похожий на апостола Петра старик. А впереди него бежал без шапки совершенно такой же старик, только немного помоложе. Первый старик догнал второго и ударил его колом. Тот так и повалился. Ударил еще и еще...

Объяснилось это так. Старший сын Григория, мужик пятидесяти семи лет от роду, был послан в Пове-нец продать рыбу. Вернулся он выпивши, нагрубил старику, и тот его отколотил.

Водка и табак, безусловно, не допускались в доме старика, чай и кофе пили только с гостями, так что преступление было двойное. Раньше я думал, что воспрещение староверами водки, чаю и табаку имеет лишь религиозное значение. Но тут, беседа со стариком, я убедился, что эта громадная семья и по своим недостаткам не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники с водкой, то это поглотило бы весь мерезный промысел и часть бурлацкого. А если прибавить к этому, что курящий табак вместе с тем как бы и отрицает высшую власть отца, то расправа старика становится буд-то бы и немного понятной.

— А как же с ними? — говорил мне немного спустя старик. — В суд, что ли, подавать? Так в суде этого разбирать не станут. Какие теперь суды, только деньгам перевод. Раньше так просто бывало: соберутся, повалят, отдерут, вот тебе и суд весь... Ничего, отлежится. Пойдем с нами побеседуем!

Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому, что гость был в доме, женщины старательно приготовляли все для беседы. Стол покрыли белой скатертью, старуха хлопотала с кофеем, который здесь получается контрабандой из Финляндии и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала в тесто рыбу, приготовляя рыбники. Из сыновей Григория тут был только младший, бойкий парень лет двадцати, любимец ста-

рика, блондин, с открытым славянским лицом; старший «отлеживался»; остальные были в бурлаках. Кроме того, тут же на лавке сидел бородатый глубокомысленный зять, очевидно гость. Разобраться в женщинах и детях не было никакой возможности, — казалось, что их было великое множество.

Стали угощать кофеем, старик пил горячую воду. Началась беседа, немножко натянутая, как бы официальная, о жизни вообще. Говорил один старик, старуха вставляла замечания, а зять подавал глубокомысленно реплики: «Верно, верно». Остальные молчали.

Жизнь, о которой говорил старик, была, конечно, здешняя, выговская. В этой избе, в большой семье на острове, происходила такая же драма, как и везде: «старое боролось с молодым, новым». Старое пришло сюда, на Выг-озеро, с верхнего Выга, из погубленного Даниловского монастыря. Новое — с нижнего Выга, где сосредоточивались бурлацкие работы по сплаву лесов. Поэтому старик осуждал бурлачество и вместе с ним новую жизнь.

— В бурлаки, в бурлаки, — говорил он. — А придут к чему?

— Верно, верно, уж так, — вторил зять.

— Да что, господа, оставь поле без огорода, что будет?

— Да, что будет, — вторил зять.

Слушатели прихлебывали кофею молча, торжественно и долго.

— В наше время, — разливался старик, — жили советно, уж невестка в дверях не застрянет и не скажет: «Хочу, не хочу». А нынешняя молодежь: им слово, а они два.

— Верно, уж такие и есть.

— Да что далеко ходить! — вставила свое словечко старушка. — Годов десяток, не больше, у нас на всем Выг-озере только и был самовар у койкинского батюшки, да на Выг-озерском погосте другой, да у Семе-

на Федорова третий, да у дьякона... всего девять самоваров было. А теперь у каждого, да еще по два.

— Старики наши, — продолжал хозяин, — гнильтиной кормились да воду пияша, а молодому давай хром, коня да дом.

— Так и нужно, — раздался неожиданно молодой, свежий голос младшего сына хозяина. — Без коня в наших местах и жить невозможно.

— А что, кому поматерее себя, будто поперечить-то и неловко, — поправил старик. — Как же это старики-то *кережи* (ручные сани) на себе без коней возили?

— Старики только и знали, что свою душу спасали, о других и не думали.

— А об ком же еще и думать, как не о себе?

— Да что и в этом хорошего: уйти в лес да гнилью питаться?

— А пойд-ко, брат, уйди. Не-ет, не уйдешь. Ведь на страшном-то судилище господнем ты за себя за одного отвечать будешь, за других там не спросят?

— Верно, верно, за других не спросят, — вторил зять.

На этот раз мне так и не удалось сойти с официального тона беседы. Она была длинная и утомительная. Потом я убедился, что старик был не совсем искренним, когда советовал сыну уйти в лес. Это был по натуре не пустынный, а крестьянин. Он любил землю, крестьянство, готов был идти на какой угодно каторжный труд, лишь бы не расстаться с землей. «Уйти в лес» — так учили пустытники, в это он верил, искренне всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушел, а устроил большую семью, дом, все хозяйство. В нем жил инстинкт хлебопашца. Однажды он мне рассказал такую, характерную для здешних мест сказочку:

«Старик один спасался, богу молился в лесу. Вот приходит к нему калика прохожий, господь уж только знает, кто он такой, приходит и говорит:

— Бог помочь, лесовой лежебочина!

— А какой я лежебочина, как я богу молюсь да тружусь, труды полагаю да потею...

— Да что твои труды! Вот благочестивый крестьянин на поле пашет, так знает, когда господь к обедне зазвонит и когда обедать пора приходит.

Старик и взял себе в разум: что это мне калика прохожий говорил. Пошел на поле, видит — мужик пашет.

— Бог помощь! А обедал ли ты, добрый человек? — спрашивает у пахаря.

— А я, — говорит, — еще не обедал, у господа еще благовеста не было.

Один сел на межу. Другой попахал, поставил лошадь и глаза перекрестил.

— А чего ты, добрый человек, глаза перекрестил? — спросил старец.

— А вот, — говорит, — блавест к обедне, так надо идти богу молиться и обедать.

Подивился старец... и пошли молиться».

Смысл этой сказочки старик сейчас же пояснил.

— Видно, — сказал он, — крестьянин у господа больше значит, чем старец. Старец-то все молился, да не домолился, а крестьянин все пахал да в святые попал.

Но если старик не соглашался с требованием «уйти в лес», то бурлачество ему было совершенно непонятно.

— Дома, — говорил он мне, — крепче спишь, да скорее пообедаешь. А бурлаки уйдут, домашникам и есть нечего... Там вольно — во-первых, заботы нет: хлеб хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться от земли — деньги давали, а потом и неволей. Вот придут домой голодные, изморенные, а денег не принесут. Деньги еще *лонись* (прошлый год) черту отдали. Много ли в полях хлеба родится! Бери, откуда знаешь. Вот он и пойдет к десятнику кланяться, продает себя на весну, а потом еще к

богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберет под рыбу, потом под рябы — и дойдет до того, что душу продаст, праздники десятнику продаст.

Эх, в старину-то было! На земле — как на матери жили. Тогда по двадцать пудов ржи в нивьях сияли. В нивьях не родится, на полях родится. Семейства душ по двадцать были, хорошо жили!

И какова же эта мать-земля, о которой так любовно говорил старик? С каким презрением отвернулся бы от нее наш крестьянин земледельческой полосы! Не мать, сказал бы он, эта земля, а мачеха.

Особенно поразила меня пашня на Карельском острове. Весь этот небольшой остров разделяется на две половины: одна низменная, топкое болото, другая повыше — сельга, сплошной каменный слой.

— Да как же вы пашете? — невольно спросишь, когда увидишь этот слой камней.

— Не пашем, а перешевеливаем камень, — ответят вам.

Такую землю за лето непременно нужно перешевелить раз пять, иначе ничего не родится. При этом бывает еще нужно постоянно стаскивать большие, выпавшие из земли камни в кучи, называемые *ровницами*. Скоро эти ровницы обрастают травой, и на полях, состоящих из белого слоя мелких камней, резко выделяются зеленые холмики. Это так характерно, что крестьяне часто говорят, например, так: «У меня поле в девять ровниц». Убрать мелкий камень в ровницы нельзя, потому что нагретый днем камень предохраняет посев от зябели¹, а в засуху препятствует испарению воды. Так по крайней мере думают крестьяне. Не успеешь вспахать такую землю, как она снова в этом сыром климате зарастает травой, потому-то и приходится ее так часто пахать.

¹ Зяб е л ь — холод, стужа.

Но, кажется, это слово «поле» означает несколько не то, что в земледельческом районе. Это поле находится возле самой деревни, очень маленькое, как огород, и обнесено изгородью, огородой. Казалось бы, место это как раз пригодно для огородов, но здесь их нет: капуста не растет, не растет лук, даже картофель родится плохо, часто гниет. Местные люди не знают яблок, не имеют понятия о пчеле, никогда не слышали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти обо всем об этом они уверенно и любовно поют, но в обыденном языке этих слов не услышишь. Раз я заговорил о пчеле — меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это *медовик*, то есть шмель.

И в этом краю проходит детство, бывают романы. И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!

На таком «поле», да еще при необходимом редком посеве, в суровом климате родится хлеба немного: хорошо, если месяца на два, на три хватит. Вот почему теперь неизбежно, нужно продать себя в бурлаки, и продать вперед.

Раньше, когда еще не было лесных промыслов в крае и когда разрешалось еще подсечное хозяйство в казенных лесах, хлеба хватало. С одной стороны, стеснение подсечного хозяйства правительством, а с другой — бурлачество, оторвавшее в самое нужное время лучших работников, — вот причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, «поля», а «нивья», то есть земля, разделанная в лесу, заброшены. Крестьянин и рад бы увеличить постоянную пашню, «поля», на которых хлеб получается с меньшим трудом, потому что тут уже не нужно вырубать деревья, жечь их и пахать между пеньями, а только положить навоз да перешевеливать камень сохой. Но вот в навозе-то и дело. Для постоянной пашни нужно много навоза — значит, много нужно иметь скота, а для скота — корма; сено же здесь болотное, скот его не ест без муки. И получается общеизвестный сельскохозяйственный

круг. Кроме подсеки, в старину этот круг разрывался еще работами для Даниловского общежития. Теперь же на место подсеки и работ для Даниловского общежития стало бурлачество, со всей его новой культурой.

Такова эта мать-земля. А теперь — снова к сказителю Григорию Андрианову.

В глухом лесу, на холмике против лесного озера, *белой ламбины*, виднеется желтый кружок ржи, обнесенный частой косою изгородью. Вокруг этого островка стоят стены леса, а еще немного подалее начинаются и совсем топкие, непроходимые места. Этот культурный остров весь сделан Григорием Андриановым, и сделан не из расчета хозяйственного. Какой тут расчет, когда таким трудом он мог бы больше наловить рыбы или наплести сетей! Хорошо было работать так раньше, когда эти островки расчищало целое семейство душ в двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный труд. Нет, в этом лесу скрыты более высокие запросы Григория Андрианова, чем простой хозяйственный расчет. Нет, тут поэзия прошлого, когда все громадными семействами секли лес, когда духовно более сильные люди еще не продавали себя за грош в бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островок этот — памятник прошлому, золотому веку, священнодействие души старика Григория Андрианова.

Еще осенью, два года тому назад, старик заметил это местечко, когда полесовал. Он осмотрел внимательно лес — не тонок ли он, или не очень ли толст: очень тонкий не даст хлеба, очень толстый трудно сечь. О почве он уже заранее, по виду леса, составил себе суждение, теперь ему остается только проверить. Если лес березовый, ольховый, вообще лиственный, то под ним растут трава, цветы, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лес, то под ним ничего не растет, почва остается тощей. Он знает, что береза растет на крепкой земле, а ель — на слабой. Тем

не менее он вынул из-за пояса топор и обухом разбил землю, осмотрел корни: они оказались сухими. Это хорошо, потому что «на сыром корне не бывает рождения». Слой почвы в четверть, значит, можно собрать четыре хороших урожая: каждый вершок почвы, по его мнению, дает один урожай. Окончив осмотр, он заметил местечко. Весной же, когда сошел снег и лист на березе стал в копейку, то есть в конце мая или в начале июня, он снова взял топор и пошел «суки рубить», то есть сечь лес. Рубил день, другой, третий. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свежие рыбники, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной с собой сухой пищей и тут же ночевать в лесу у костра или в тесной избушке. Наконец работа окончена. Срубленный лес должен сохнуть. Мало-помалу листья на срубленных деревьях желтели, и среди леса появился желтый островок.

На другой год в то же время, выбрав не очень ветреный, ясный день, старик пришел жечь просохшую слежавшуюся массу. Он подложил под край ее жердь и поджег с подветренной стороны. По мере того как сгорало, он подвигал жердь дальше, чтобы под деревьями был воздух и они горели. Среди дыма, застилающего глаза, искр и языков пламени он проворно перебегал с места на место, поправлял костер, пока не сгорели все деревья. В лесу на холмике, против белой ламбины, желтый островок стал черным — это *пал*. Ветер может разнести с холмика драгоценную черную золу, и вся работа пропадет даром. Потому-то нужно сейчас же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо орать¹ особой *паловой* сохой, с прямыми сошниками без *присоха*. Если же их много, землю нужно *косоровать*, разделявать ручным косым крюком, старинной *копорюгой*. Когда и эта тяжелая

¹ О р а т ь — пахать.

работа окончена, то пашня готова, и следующей весной можно сеять ячмень или репу. Такова история этого маленького культурного островка.

Когда узнаешь эту историю, невольно приходит в голову такое предположение: не принесли ли эту любовь к земле еще далекие предки старика, когда они переселились сюда из более хлебородных мест?

Так вот эта-то связь с землей и мешала старику «уйти в лес», спасти свою душу. Но теперь еще новое сомнение росло в душе старика: младший, его любимый сын, «парной, саблеватый» и грамотный малый, побывал в Поморье и заразился там новыми взглядами. С этими взглядами было не так легко бороться, как с пьянством и грубостью старшего сына.

А вернувшись на днях с лесопильного завода из Сороки, малый начал и вовсе плести чепуху. Он сказал, что завод лесопильный остановился, все рабочие забастовали и даже подговаривают бурлаков на Выгу и на Сег-озере. Старик был возмущен. Вот уже пятьдесят лет выговцы ходят по сплавам, тем только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но им теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственного заработка на стороне, пришлось бы умирать с голоду. И вот забастовали! К чему же это должно привести? Верить не хотел старик. Но слухи все росли и росли, время от времени на остров заезжали ловцы и каждый раз подтверждали эти слухи. Наконец, по всему краю только и говорили о забастовке. Слово неслыханное, непонятное в этом краю аскетизма, в этом населении, в борьбе с природой прошедшем суровую вековую школу терпения. Ежедневно, при возрастающем волнении в семье, мне приходилось наблюдать, как обострялись отношения старика с молодым сыном. Между женщинами тоже образовались две партии. И бог знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг старик не был разбит таким оборотом дела.

Раз утром молодуха пошла за водой на озеро и сейчас же прибежала назад с криком:

— Едут, едут! Бурлаки едут!

Бабы уже давно дожидались бурлаков, потому что наступил сенокос, а страшное новое слово «забастовка» поселило беспокойство в сердцах молодых жен. Вот почему все, кто был в избе, бросились к берегу, когда услышали, что едут.

Лодка шла на восьми веслах, и только уж близко от берега поставили парус, хотя почти не было ветра. Подкатить на парусе считается на Выг-озере особым шиком. Бурлаки, по-видимому, были очень весело настроены, доносились смех и заливиная песня:

Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съедает...

Радостную весть привезли бурлаки. Все их требования были удовлетворены. К ним приезжал сам губернатор, кланялся и обещал все устроить. Тут же послали телеграмму хозяину в Петербург и получили ответ: «Удовлетворить немедленно».

Старик был сбит с толку и, насупившись, молчал, а бурлаки радовались. Первый день ничего не делали, отдыхали. Потом стали готовиться к сенокосу: кто точит косу-горбушу, кто кошель чинит, кто ружье чистит, кто готовит дорожки для ужения рыбы, крючки... Все это пригодится на сенокосе. Сенокосные места, *пожни*, находятся далеко, за двадцать верст, так что целую неделю нельзя возвращаться домой.

Когда вся эта шумная ватага уехала, большая изба опустела, остался один старик со старухой и малыми детьми. Тихо стало на острове и в избе. Слышно только, как скрипит зыбка и уныло звучит монотонная песенка старушки-пестуньи:

Баю-баю во добри,
На соломенном коври,
Бай на лыченьком, на тряпиченьком...

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши. Старик взволновался и с радостью мне рассказал.

— Веку мне, — сказал он, — восемьдесят семь лет. Родился я на Корос-озере. Это хоть и недалеко отсюда, верст двадцать пять лесом, а уж хозяйство другое. Зябель там постоянная, другой раз по семи лет вымерзает хлеб. Как яшень на небе да три звезды, так и зябель. Болота, родники холодные, морянка задует — все к зябели. Да и немудрено: возле океана живем. На Выг-озере этого нет: острова, кругом вода, от водицы тепло, водица тепло держит. Пала раз весна, северная такая, ждать хлеба нельзя. Надумал родитель-батюшка перебраться сюда: «Куда, — говорит, — ни зайдешь, все солнышко по вершинкам задевать будет». Продали корову, купили лодку — на острове нельзя без лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала под сосной. Вон она, матушка, стоит...

Старик показал мне рукой в окно на большую развесистую сосну.

— Эх! Уж я это тебе верно говорю: в наших местах без трудов не проживешь. Лес секли, камни выворачивали, сети плели, рыбу ловили, полесовали. А родитель мой батюшка полесник! Я и сам полесник был. Эх, был конь, да заезжен, был молодец, да подержан. Хвастать не буду, а еще и теперь на пятьдесят сажен в копейку попаду. Вот только мошников¹ уж плохо слышу... Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и

¹ М о ш н и к — глухой тетерев, глухарь.

устроили вот эти хоромы. Запахали поля, засеяли. Лет пять так прожили. Уж мне двадцать пятый год пошел. Поехали мы в Койкинцы на праздник, к Полеостровскому. Прихожу к Захару, смотрю: моя-то княгинюшка рыбу чистит, станушка в перст! Да вот она, княгиня моя, любя тебе? Ну а мне так гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: «Так и так, батюшка, кабы ты съездил». — «Какую?» — говорит. «Да вот тую, — говорю, — Захарову». Смотрю, надел батюшка тулуп, опоясывается. Жду... Да как жду! Верить ли, на крышу раз десять слазил, не видать ли лодки. Гляжу, двое едут. Отец гребет, Захар сидит, правит. Ну, попал молодец! Свадьбу собирать, а денег нет. Всего-то рублей семнадцать и нужно было. Толкнулся я на погост, к Алексею Иванову. Так и так, повинился ему. Дал, век ему спасибо, слова не сказал. Вот так я и женился. А дальше жили в трудах. Я как женился, так и сказал: «Ну, жена, я хоть и худой муж, а против матушки и батюшки ногой не ступи». А она как завопит: «Матушка, благослови!..»

Старик отвернулся, оправился и продолжал:

— Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснослова, из Данилова монастыря вышла. Как сказала жена тогда слово, так и не переменяла потом. Варя моя неожурима была. А вот есть молодые, не скажу плохие, а... Эх, Михайло, ум не кошелка, не переставишь, моего ума держимся. Много горя видели, всего извели, а семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Другой раз придешь, наморишься, станет словно и нехорошо. А отдохну — и опять за работу. Да так вот и живу да болтаюсь, все вперед да вперед... Про Алексея Ивановича я тебе забыл досказать. Через год я снес ему деньги, поблагодарил и не видал его лет десять. И вот раз перед самым светлым Христовым воскресеньем пала погодушка великая. Озеро надулось, посинело, что мертвец. Смотрю, катит ко мне Алексей Иванов, гость дорогой. А на

другой день ехать нельзя было: лед разошелся. Пришлось ему у меня праздник гостить. В великую пятницу я и говорю княгине своей: «Чем гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грех в великую пятницу». — «Ничего, — говорит, — сходи, попытай счастья». Совестно мы с ней жили! Перекрестился я и пошел в лес. А снег уж в лесу повышел, талинки показались. Инде тало, инде суметно. Суметы подморозило, гладкие, что бумага. Смотрю, большой сумет навален. Стал я его переходить, и вдруг как схватит меня у поясицы, не могу с места сдвинуться. Ну, ничего, справился, пошел по талинкам, как по скатерти.

И слышу, точится мошник. А уж рассветает, заря разгорелась, бор, что гарево, стоит! Вижу, далеко мошник противу зари, черный да большой, что бурак¹. Я к нему по сушинкам да по лежинкам, да по корочкам пя-тю-гать, пя-тю-гать², чтобы сучья не зряцкали. А он посидит, посидит, да и заточится. За молчит — и я стою, не шелохнусь, как заточится — я опять пя-тю-гать... С одним покончил, другой недалеко заточился... Да так вот в светлое Христово воскресенье гостя и накормил... Вот как мы в старину жили, — закончил старик. — Любо ли тебе?

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богатыри.

— Какие же это богатыри? — спрашиваю я.

— А вот послушай, я тебе про них старинку спою, — отвечал старик.

И, продевая крючком в петли *матицы*, запел:

¹ Б у р а к — корзина из дранок, новгородская «мостина».

² П я т ю г а т ь — значит бесшумно подкрадываться на пятках.

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира...

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услышал первый раз былинку в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель-старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно...

И умный хвастает золотой казной,
А безумный хвастает молодой женой.

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

— Слышишь ты, безумный-то хвастается молодой женой.

И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,
И белой лебеди он да и не рушает...

Старик долго пел и все-таки не окончил былины.

— А что же случилось с Ильей Муромцем? — спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

— Илья Муромец окаменел — за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

— А Добрыня Никитич?

— Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

— Какой скобой? — спросил я.

— Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

— Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

— Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

— Да знаешь что, — они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что пел.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

В прекрасном и яростном мире

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был вместо Драбанова определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальце-

ва, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел?

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно как и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышло-вых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но

не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы правда не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс¹ на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта.

С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в

¹ Р е в е р с — прибор, изменяющий движение машины на обратное.

смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора¹, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал, котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух распатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слышали — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

¹ И н ж е к т о р — насос.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень устал, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещающая машущий, дышло-вой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой беспорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард¹ под бандажами² наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром³.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером⁴ в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

¹ П е т а р д а — сигнальный разрывной снаряд, применяемый для остановки поезда в случае опасности.

² Б а н д а ж — металлический обод на железнодорожном колесе для увеличения прочности.

³ Т а х о м е т р — прибор для определения скорости вращения какой-либо машины.

⁴ Т е н д е р — задняя часть паровоза.

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич. Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас? — Я объяснил ему. — Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вот жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я. Следователь удивленно слушал меня. — Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или по крайней мере не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курь-